Голоса Века XX

Федор Шаляпин

Воспоминания

SHOUT
SHARE
IT

- Леонид Николаевич Андреев
  -

Леонид Николаевич Андреев
Ф. И. Шаляпин

Я хожу и думаю. Я хожу и думаю — и думаю я о Федоре Ивановиче Шаляпине. Сейчас ночь; город угомонился и засыпает: нет его назойливых звуков, нет его бессмысленно-пестрых красок, которые в течение всего дня терзают слух и зрение и так оскорбительны среди осеннего покоя и тихого умирания. Тихо на темной улице; тихо в комнате — и двери отперты для светлых образов, для странных смутных снов, что вызвал к жизни великий художник-певец.

И я хожу и думаю о Шаляпине. Я вспоминаю его пение, его мощную и стройную фигуру, его непостижимо подвижное, чисто русское лицо — и странные превращения происходят на моих глазах… Из-за добродушно и мягко очерченной физиономии вятского мужика на меня глядит сам Мефистофель со всею колючестью его черт и сатанинского ума, со всей его дьявольской злобой и таинственной недосказанностью. Сам Мефистофель, повторяю я. Не тот зубоскалящий пошляк, что вместе с разочарованным парикмахером зря шатается по театральным подмосткам и скверно поет под дирижерскую палочку, — нет, настоящий дьявол, от которого веет ужасом. Вот таинственно, как и надо, исчезает в лице Шаляпина Мефистофель; одну секунду перед моими глазами то же мягко очерченное, смышленое мужицкое лицо — и медленно выступает величаво-скорбный образ царя Бориса. Величественная плавная поступь, которой нельзя подделать, ибо годами повелительности создается она. Красивое сожженное страстью лицо тирана, преступника, героя, пытавшегося на святой крови утвердить свой трон; мощный ум и воля и слабое человеческое сердце. А за Борисом — злобно шипящий царь Иван, такой хитрый, такой умный, такой злой и несчастный; а еще дальше сурово-прекрасный и дикий Олоферн; милейший Фарлаф во всеоружии своей трусливой глупости, добродушия и бессознательного негодяйства; и наконец создание последних дней — Еремка. Обратили вы внимание, как поет Шаляпин: «а я куму помогу-могу-могу». Послушайте — и вы поймете, что значит российское «лукавый попутал». Это не Шаляпин поет и не приплясывающий Еремка: это напевает самый воздух, это поют сами мысли злополучного Петра. Зловещей таинственности этой простой песенки, всего дьявольского богатства ее оттенков нельзя передать простою речью.

И все это изумительное разнообразие лиц заключено в одном

лице; все это дивное богатство умов, сердец и чувств — в одном уме и сердце вятского крестьянина Федора Ивановича Шаляпина, а ныне, милостью его колоссального таланта, европейской знаменитости. Просто не верится. Какой силой художественного проникновения и творчества должен быть одарен человек, чтобы осилить и пространство, и время, и среду, проникнуть в самые сокровенные глубины души, чуждой по национальности, по времени, по всему своему историческому складу, овладеть всеми ее тончайшими изгибами. Чуть ли не два века создавала Европа совокупными усилиями своих народов Мефистофеля и в муках создала его — и пришел Шаляпин и влез в него, как в свой полушубок, просто, спокойно и решительно. Так же спокойно влез он и в Бориса и в Олоферна расстоянием он не стесняется, и я, ей-Богу, не вижу в мире ни одной шкуры, которая была бы ему не по росту.

Творческой роли актеров и певцов принято отводить довольно скромные размеры: и слова у них чужие, и музыка чужая, и только толкование того и другого в их власти — да и то в известных пределах. Как ни пой Шаляпин «Блоху», а создали ее все-таки Гёте и Мусоргский, а не он. Оно так, но не совсем. Допустим такой случай: вылепивши из глины человека, Творец позабыл бы вдохнуть в него жизнь — получилась бы глиняная фигура со всеми атрибутами и потенциями человека, но не человек. И много или мало сделал бы тот, кто дал бы жизнь неподвижной глине? Именно это и делает Шаляпин — он дает жизнь прекрасным глиняным и мраморным статуям. Давно существуют «Псковитянка» и Иван Грозный, и многие любовались им, — а живым не видел его никто, пока не явился Шаляпин. Живым, в самом строгом смысле этого слова, ну — как живы я и вы, мой читатель. Всегда находились на свете более или менее талантливые искусники, которые раскрашивали статуи под человеческое тело, приводили их в движение, и получалось так мило — совсем как живые. Как живые, но не живые — вот та непостижимая разница, что отличает творения Шаляпина от игры других талантливых артистов. Здесь начинается область великой тайны — здесь господствует гений. Большое слово написал я — но не беру его обратно.

Если взглянуть вниз на землю, примерно с вершины Монблана, то разница в росте между отдельными людьми едва ли будет заметна. И когда с вершины творчества Шаляпина я гляжу на самого Шаляпина, меня перестает удивлять то, что так удивляет многих других: его появление с самых низов жизни, отсутствие у него образовательного ценза, и я начинаю думать, что университетский или иной диплом, этот лишний вершок

роста, добытый тщательной поливкой, еще не делает человека высоким. Один мой знакомый, весьма высоко ставящий Горького и Шаляпина, положительно не хочет верить, чтобы они могли творить так без диплома, и недавно высказал догадку, что оба они тайно окончили университетский курс и притворяются самоучками для рекламы. Сам он, мой знакомый, имеет 144 аттестата средних учебных заведений и 48 дипломов высших и служит в настоящее время в акцизе — спирт меряет. Доказав его ошибку, я привел его в страшное смущение.

— Неужели и в диплом верить нельзя? — спросил он, разложив по столу все двести свидетельств своих знаний и успехов. И на каждом была казенная печать и пять неразборчивых подписей.

— По-видимому, — ответил я грустно, вспоминая все свои свидетельства, начиная со свидетельства о привитии оспы, кончая клятвенным уверением, что по полицейскому праву я имею весьма отличную отметку (что, кстати, не внушает городовым ни малейшего ко мне почтения).

— О, Боже мой, — воскликнул он, — какое странное время! Во что же верить теперь?

— Попробуем верить в человека, — предложил я.

— Ну, уж в человека ни за что, — возмутился мой знакомый. — Недавно я дал человеку десять рублей, а он сдачи принес с пяти — как же стану я вам верить в человека!

Да, если не смешивать хронически человека с лакеем, то из факта существования Шаляпина можно вывести много утешительного. И отсутствие дипломов и всяких условных цензов, и странная судьба Шаляпина с чудесным переходом от тьмы вятской заброшенной деревушки к вершине славы даст только лишний повод к радости и гордости: значит — силен человек. Значит — силен живой Бог в человеке!

Я не беру на себя задачи достойно оценить Ф. И. Шаляпина — избави Бог. Для этого нужна прежде всего далеко не фельетонная обстоятельность, серьезная подготовка и хорошее знание музыки. И я надеюсь, хочу быть уверен, что эта благородная и трудная задача найдет для себя достойных исполнителей: когда-нибудь, быть может скоро, появится «Книга о Ф. Шаляпине», созданная совместными усилиями музыкантов и литераторов. Такая книга необходима. Нужно хоть отчасти исправить ту жестокую несправедливость жизни, что испокон веков тяготеет над певцами и актерами: их творения неотделимы от них самих, живут вместе с ними и вместе с ними умирают. Воспроизвести словом, как бы оно ни было талантливо, все те пышущие жизнью лица, в каких является Шаляпин, невозможно, и в этом смысле

несправедливость судьбы непоправима. Но создать из творений Ф. И. Шаляпина прекрасную долговечную статую — эта задача вполне осуществима, и в осуществлении ее наши наиболее талантливые литераторы найдут благородное применение своим силам. Перед лицом всепожирающей вечности вступиться за своего собрата, вырвать у нее хоть несколько лет жизни, возвысить свой протестующий голос еще перед одной несправедливостью — как это будет и дерзко, и человечно, и благородно! Разве Мочалов не жил бы до сих пор, если бы его великие современники, часто безграничные властители слова и формы, не в виде отрывочных воспоминаний, а в целом ряде художественных образов и картин сохранили для нас его гениальный образ и гениальные творения? Обидно подумать, что до сих пор над увековечением творений Шаляпина трудились: со стороны внешней картинности образа — фотограф Чеховский, со стороны звука дико скребущийся, как запертая кошка, фонограф и репортеры.

Мои собственные намерения скромны: очарованный гениальным творчеством Шаляпина, натолкнутый им на массу мыслей и чувств, я хочу поделиться с читателем своими впечатлениями в далеко не полной и не удовлетворительной форме газетного фельетона. Разве можно наперстком вычерпать океан, или удою вытащить на берег Левиафана, или в коротенькой, наскоро набросанной статейке воссоздать многоцветный и многогранный образ Ф. Шаляпина?

Сейчас поздняя ночь, все тихо, все спит — перед моими глазами встает Шаляпин-Мефистофель, не тот, что на сцене в «Фаусте», дивно загримированный, вооруженный всеми средствами театральной техники для воссоздания полной иллюзии, а тот, что поет «Блоху». Одет он просто, как и все, лицо у него обычное, как у всех. Когда Шаляпин становится к роялю, на губах его еще хранятся следы живой беседы и шутки. Но уже что-то далекое, что-то чужое проступает в крупных чертах его лица, и слишком остер сдержанный блеск ею глаз. Он еще Ф. И., он еще может бросить мимолетную шутку, но уже чувствуется в нем присутствие кого-то неизвестного, беспокойного и немного страшного. Еще момент, какое-то неуловимое движение — и нет Шаляпина. Лицо неподвижно и бесстрастно нечеловеческим бесстрастием пронесшихся над этой головой столетий; губы строги и серьезны, но — странно — в своей строгости они уже улыбаются загадочной, невидимой и страшно тревожной улыбкой. И так же загадочно-бесстрастно звучат первые слова сатанинской песенки:

Жил-был король когда-то.
При нем блоха жила.
Блоха… Блоха…

В толпе слушателей некоторое движение и недоумевающие улыбки. Король и при нем блоха — странно и немного смешно. Блоха! А он — он тоже начинает улыбаться такой вкрадчивой и добродушной улыбкой — эка веселый, эка милый человек! Так, в погребке, когда-то с веселым недоумением и приятными надеждами должны были глядеть немецкие филистеры на настоящего Мефистофеля.

…Милей родного брата
Она ему была.

Что за чепуха! Блоха, которая милей родного брата, — что за странность! Быть может, это просто шутка? Наверно шутка: он тоже смеется таким веселым и откровенным смехом:

Блоха… ха-ха-ха-ха-ха… Блоха.
Ха-ха-ха-ха-ха… Блоха!

Нет сомнения: речь идет о какой-то блохе. Экий шутник! Физиономии расплываются в приятные улыбки: кое-кто оглядывается на соседа и гыкает: гы-гы. Кое-кто начинает тревожно ерзать — что-то неладное он чувствует в этой шутке.

Зовет король портного.
— Послушай, ты, чурбан,
Для друга дорогого
Сшей бархатный кафтан!

Потеха! У слушателей уже готова улыбка, но улыбнуться они еще не смеют: он что-то неприятно-серьезен. Но вот и его уста змеятся улыбкой; ему тоже смешно:

Блохе кафтан? Ха-ха-ха-ха-ха-ха.
Блохе? Ха-ха-ха-ха-ха. Кафтан!
Ха-ха-ха-ха-ха. Ха-ха-ха-ха-ха. Блохе кафтан!

Ей-Богу, смешно, но что-то загадочное и ужасно неприятное

сквозит в этом смехе. Отчего кривятся улыбающиеся губы, и отчего у многих мелькает эта скверная догадка: черт возьми, о, порядочный я осел — чего я хохочу?

Вот в золото и бархат
Блоха наряжена,
И полная свобода
Ей при дворе дана.
Ха-ха. Ха-ха-ха-ха. Блохе. Ха-ха-ха!

Он смеется, но откуда этот странный и страшный блеск в его глазах? И что это за неприличная нелепость: блоха, которой дана полная свобода при дворе! Зачем он так неприлично шутит! Смешно, очень смешно, но… но… но…

Король ей сан министра
И с ним звезду дает,
За нею и другие
Пошли все блохи в ход.
Ха-ха.

Позвольте, позвольте, — что это такое! Это насмешка. Кто этот незнакомец, так нагло издевающийся над чем-то, над чем-то… Что ему нужно? Зачем пришел он сюда, где так мирно распивалось пиво и пелась мирная песенка?

И самой королеве
И фрейлинам ее
От блох не стало мочи,
Не стало и житья.
Ха-ха!

Смятение. Все вскакивают. На лицах еще застыла жалкая улыбка одураченных простаков, но в глазах ужас. Это заключительное «ха-ха» дышит такой открытой злобой, таким сатанинским злорадством, таким дьявольским торжеством, что теперь у всех открылись глаза: это он. Это дьявол. Глаза его мечут пламя скорее прочь от него. Но ноги точно налиты свинцом и не двигаются с места; вот падает и звякает разбитая кружка; вот кто-то запоздало и бессмысленно гыкает: гы-гы — и опять мертвая тишина и бледные лица с окаменевшими улыбками.

А он встает, громадный, страшный и сильный, он

наклоняется над ними, он дышит над ними ужасом, и, как рой раскаленных камней, падают на их головы загадочные и страшные слова:

И тронуть-то боятся,
Не то чтобы их бить.
А мы, кто стал кусаться,
Тотчас давай — душить!

Железным ураганом проносится это невероятное, непостижимо сильное и грозное «душить». И еще полон воздух раскаленного громового голоса, еще не закрылись в ужасе раскрытые рты, как уже звучит возмутительный, сатанинско-добродушный смех:

Ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха.
Ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха.

То есть — «извините, братцы, я, кажется, пошутил насчет какой-то блохи. Да, я пошутил — не выпить ли нам пивка: тут хорошее пиво. Эй, кельнер!» И братцы, недоверчиво косясь, втихомолку разыскивая у незнакомца предательский хвост, давятся пивом, приятно улыбаются, один за другим выскальзывают из погребка и молча у стеночки пробираются домой. И только дома, закрыв ставни и отгородившись от мира тучным телом фрау Маргариты, таинственно, с опаской шепчут ей:

— А знаешь, душечка, сегодня я, кажется, видел черта.